

К ее могиле совершают паломничество, и не поодиночке, а целыми экскурсионными группами. Изданы ее дневники, как ранние, что строчила для отдохновения двадцатилетняя красotka (он так и назывался: «Дневник для отдохновения»), так и зрелых лет, писанные шестидесятилетней матроной. Бережно хранятся не только ее собственные письма, но и письма ее близким. Публикуются ее портреты как достоверные (этих сохранилось всего два, причем один из них - вырезанный из черной бумаги силуэт), так и предпологаемые. Фотографии ее мужей - и первого, и второго - тоже печатаются, и люди внимательно всматриваются в них, пытаясь оживить образы этих ничем, в общем-то, не примечательных субъектов.

Что же такого выдающегося совершила эта женщина? А ничего! Ровным счетом - ничего... Выданная неполных семнадцати лет за генерала, который был вдвое старше ее, родила ему детей, влюблялась в молодых офицеров, давая им, по тогдашнему обычаю, имена цветков, скучала в гарнизонной глуши, восхищалась англичанином Стерном и французской Сталь (а кто в те времена не восхищался ими?), боготворила императора Александра Павловича и в восемьдесят без малого лет тихо почила на руках сына - раба божия А.Маркова-Виноградская, в девичестве Полторакича.

Кому говорят что-либо эти фамилии? Никому и ничего. Но в промежутке между девической и той, с которой эта женщина ушла из жизни, она носила еще одну фамилию, по первому мужу, генералу, и уж ее-то на Руси знают все: Керн. Анна Керн...

Имя, как то нередко случается в истории, оказалось счастливым ее владельца. По сути дела, это две разные судьбы. Одна - яркая, сверкающая, окруженная ореолом пушкинской поэзии, другая... Другая судьба владелицы среди трудностей, унижений и оскорбительной нужды.

Но были у них и некие общие точки. Первая датируется началом 1819 года, когда ровесница века юная генеральша ненадолго приехала с мужем в северную столицу. Здесь ее ввели в дом Олениных, один из самых блестящих в тогдашнем Петербурге. Сам Иван Андреевич Крылов улаивал его своим присутствием и даже время от времени почитывал басни. Так, в один из зимних вечеров познакомил гостей с историей осы, которому поручили стеречь огород.

Генеральша слушала, затаив дыхание. На лице ее блуждала улыбка. Надо ли говорить, что никого, кроме знаменитого баснописца, она не замечала вокруг?

А вот ее заместили. На нее смотрели, не отрываясь, а во время ужина, расположившись за соседним маленьким столиком прямо за ее спиной, старались обратить на себя внимание красавицы дерзкими замечаниями. Потом завязался диалог об аде и была высказана кощунственная мысль, что ад, дескать, населен хорошенькими женщинами. «Спроси у мадам Керн, хотела бы она попасть в ад?»

Мадам Керн скользя по наглету взглядом. «В ад не желаю», - произнесла она сухо. Таковы были первые слова, сказанные ею Пушкину...

Оба вскоре отправились в ссылку: он - в свою, на юг, под видом служебного перемещения, она - в свою, по военным гарнизонам, которыми командовал муж.

Тем временем слава Пушкина росла, и заточенная в провинциальной глуши поклонница изысканной словесности и впрямь не могла не читать его, о чем бесхитростно писала в далеком Тригорское своей двоюродной сестре Анне Вульф.

Это был уже 1824 год, после встречи у Олениных минуло пять лет. Керн теперь жила на Полтавщине, в местечке Лубны, а Пушкин - в Михайловском, откуда до Тригорского рукой подать. Здесь-то, дабы доставить удовольствие поэту, ему и прочли однажды то место из письма полтавской затворницы, где речь шла о нем.

Пушкин был польщен и слегка заинтригован. «Объясни мне, - срочно запрашивает он поэта Родзянко, товарища по литературному обществу «Зеленая лампа», а ныне добропорядочного помещика, соседа его новоявленной поклонницы, - объясни мне, милый, что такое А.П.Керн, которая написала много нежностей обо мне своей кузине».

Что такое Анна Петровна Керн? А как же признание, которое он сделает полгода спустя, что ему-де «звучал... голос нежный и снислсь милые черты»?

Ну, звучал... Ну, снислсь... А потом, надо думать, перестали: пять лет - все-таки срок немалый.

Летом 1825 года Анна Петровна Керн гостила у своих родственников Вульфов в Тригорском, и вот однажды во время обеда раздался далекий лай собак, который быстро приблизился, и скоро в столовую стремительно вошел господин «с большой, толстой палкой в руках».

Любимец муз нагнул из Михайловского в сопровождении огромных волкодавов. «Тутушка, подле которая я сидела, - вспоминала впоследствии полтавская гостья, - мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях».

Так вот, стало быть, когда произошло их официальное знакомство - через шесть лет после мимолетной встречи в доме Олениных? «Я तो же не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили...»

Раз он принес с собой большую тетрадку в черном сафьяновом переплете, украшенном масонскими знаками. Усевшись в кресла, раскрасил ее, и в тревожной тишине (все притаилось, ожидая чего-то таинственно-угрюмого) прозвучало:

Пылаю шумною толпой
По Бессарабии кочую.

Когда-то тетрадь была счастливой книгой масонской ложи, но охальник Пушкин нашел для нее иное применение. «Я была в улоении как от текущих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтеия, в котором было столько музыкальности, что я иставала от наслаждения». Потом она пера романе на стихи Козлова, и тут уже «иставал от наслаждения» он, а после просил передать Ивану Ивановичу Козлову, что «недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его «Венецианскую ночь» на голос гондольерского речитатива».

Слова эти адресовались не только поэту. Письмо заканчивалось припиской: «Написано в присутствии этой самой особы».

Венецианская ночь, конечно, великолепна, но ни в какое сравнение с ней не шла ночь российской, когда однажды после ужина, во время которого Пушкин, по своему обыкновенно, больше расхаживал, нежели сидел за столом, все - и гости, и хозяйка - отправились в двух экипажах из Тригорского в Михайловское. «Погода была чудесная, - вспоминает обладательница «гондольерского речитатива», - лунная... ночь дышала прохладой и ароматом полей».

Пушкин блаженствовал. «Ни прежде, ни после я не видела его так добродушно веселым и любезным». Даже луна не казалась ему грубой. «Я люблю луну, - шептал он, - когда она освещает прекрасное лицо».

В карете, помимо Анны Керн, была еще одна Анна - Вульф, тоже молодая и тоже прелестная, беззаветно и безответно влюбленная в Пушкина, так что его доверительные слова о луне каждая из них волна была принимать на свой счет. Поэт был человеком галантным.

Прибыв в Михайловское, отправились, не заходя в дом, осматривать парк...

В ту же ночь вернулись в Тригорское: на другой день обе Анны уезжали в Ригу. Встали поздно и не успели еще отзавтракать, как послышался приближающийся лай - он всегда являлся в сопровождении собак.

На сей раз в руке у Пушкина была не палка, а какие-то типографские листки. Помешкав, он протянул их Керн. Она заглянула внутрь - листы были не разрезаны, - узнала стрфы

нению с оленинским, было и впрямь куда глубже - оленинское-то выветрилось начисто. Иначе разве стал бы умолять полтавского друга незамедлительно сообщить ему, «что такое А.П.Керн»!

Теперь настал его черед отвечать на сей волнующий вопрос. Правда, его никто не задавал ему, но не беда, он задаст его сам - сам себе! - от имени, например, ее тетушки Прасковьи Александровны Осиновой. «Хотите знать, что за женщина - г-жа Керн?»

Не хочет... Этого Прасковья Александровна знать не хочет, ни к чему как-то, поскольку уж ей-то все известно про г-жу Керн, к тому же находящуюся в данный момент рылом с ную.

На это Пушкин и рассчитывал. Рассчитывал, что та, чей портрет он набрасывал в письме безглыми и льстивыми штрихами, уви-

В Михайловское не зовет ее - это, понимает, нереально, - но Псков... Может быть, она придет хотя бы в Псков? «При одной мысли об этом сердце у меня бьется, в глазах темнеет и истма овладевает мною. Ужели и это тщетная надежда, как столько других?... Не обманите меня, милый ангел. Пусть вам буду обязан я тем, что познал счастье, прежде чем расстаться с жизнью! - Не говорите мне о восхищении: это не то чувство, какое мне нужно. Говорите мне о любви»...

Еще он просит не говорить о стихах - к черту стихи! К черту благообразие! К черту мужа! Да, и мужа, в конце концов, тоже... «Если ваш супруг очень вам надел, бросьте его, но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на Остров и приезжаете... куда, в Тригорское? вовсе нет; в Ми-

хильское развитый орган полета».

Гете - тот, как известно, выискал в человеке межчелюстную кость, а вот наш поэт открыл «орган полета». Им-то, суля по всему, и пользовалась Анна Петровна, случилось же это вскоре после эпистолярной атаки Пушкина.

Полет был сладостным. А приземление - ужасным. Оглядевшись, несчастная обнаружила, что осталась без средств к существованию: генерал содержать begлянку отказался. Не помогло даже вмешательство государя - вояка ответил на высочайший запрос, что жена-де «предалась блудной жизни, увлеклась совершенно преступными страстями своими».

Делать нечего, пришлось самой зарабатывать на хлеб насущный. Вычитывала корректуры, переводила с французского - за этими

Существует ли хоть какое-нибудь объяснение этойкой метаморфозе? Существует. Его дал сам Пушкин. «Может быть, я изыщен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вулгарно».

Он писал это не ей - другой женщине, однако поклонница Стерна и г-жи Сталь понимала все и без его подсказки. «Он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным глубоким чувством любви».

Кого подразумевала Керн? Не только себя и не только «вторую Анну», которая до конца жизни оставалась верна безответному своему чувству, но еще, можно предположить, и «Анну третью».

Пушкина познакомил с ней все тот же дом Олениных. В 1819 году, когда перед молодым пинто мелкнул «гений чистой красоты», он как-то не обратил внимания на одиннадцатилетнюю хозяйскую дочь, но теперь она подросла, теперь она расцвела, он разглядел, зоркоглазый, ее прелестные маленькие ножки («Среди особенностей поэта, - отмечает в дневнике «третья Анна», - была та, что он питал страсть к маленьким ножкам») и, ошеломленный, принялся испещрять этими изысканными ножками поля рукописей - вперемешку с не оставляющими сомнения инициалами и профильными портретами их владелицы.

«Третья Анна» - Анна Алексеевна Оленина - тоже начертила его портрет, правда, словесный. «Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который видел был в толубых или, лучше сказать, стекляных глазах его, Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного и неограниченное самолюбие...»

Таким своего кумира Анна Керн не видела никогда. Ее воспоминания о нем закатываются словами: «тений добра», и это еще не все. Пусть не гением, пусть всего лишь талантом, но талантом добра рисуется на этих страницах та, кого поэт назвал своей женой. Именно через нее в 1835 году, задаленная нуждой, она обратилась к Пушкину с просьбой - не подействует ли он с публикацией ее перевода Жорж Санд?

Наталья Николаевна без замедления передала мужу записку Керн. Вот реакция «тений доброты»: «...дура вздумала переводить Занда, и просит, чтоб я сосводничал ее со Смирным. Черт побери их обоих! Я поручил... отвечать ей за меня, что если перевод ее будет так же верен, как она сама верный список с мадам Занд, то успех ее несомнителен».

Этого письма Анна Петровна, слава Богу, не видела, у нее были другие его письма, те, что он писал ей когда-то из Михайловского, - она перечитывала их бесчисленное число раз, она не расставалась с ними ни на минуту - даже выходя из дому, клала, на всякий случай, в сумочку. А потом... Потом, под угрозой голода, продала по пятерке за штуку.

Что же касается сложенного вчетверо листка, который красавица-генеральша извлекла одлажды июльским утром из неразрезанных листов «Евгения Онегина», то она вручила его композитору Глинке, а композитор Глинка, рассеянный, как все великие люди, листок потерял. Зато романс, сочиненный им на бессмертные стихи, сделавшись тоже бессмертен. Как и имя той, кому стихи эти посвящены.

Все правильно: судьба имени сплошь да рядом счастливей судьбы его носителя. Она была готова к этому. «Я буду жить долго, чтобы любить... и страдать». Слова эти написаны ею в «Дневнике для отдохновения» за десять лет до пушкинского: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать».

У него - мыслить, у нее - любить. Каждому свое... Страдать, впрочем, рвались оба...

После смерти мужа (второй муж Анны Петровны был человеком белым, но добрым) ее забрал к себе в Москву сын. Здесь 79-летний подругу Пушкина навестил актер Малого театра О.Правдин. Вернувшись домой, он записал потрескленно: «Передо мной в полутемной комнате, в старом вольтеровском кресле, повернутом к окну, сидела маленькая-маленькая, сморщенная, как печеное яблоко, древняя старушка в черной кашаеице».

Такой была она за несколько недель до смерти, но разве в могиле - той самой могиле, к которой совершают паломничества, - похоронена сморщенная старушка? Вряд ли - кому интересны сморщенные старушки! Там обрела свой покой та, что однажды мелькнула, воздушная, перед взором поэта, прошла, «как мимолетное виденье», и навечно осталась гением чистой красоты.

И более чем интимный текст, стильные издатели заменяют ключевое слово точками. И это - подумает только - о той, при виде которой еще недавно билось «сердце... в упоенье».

Вышел в свет первый том Полного академического собрания сочинений А.С.Пушкина. До конца нынешнего года читатели смогут приобрести еще не менее трех томов этого издания. Таким образом, к 200-летию со дня рождения поэта читатели получат уникальный подарок: свод абсолютно всего написанного рукой Александра Сергеевича, объединенный в 17 большеформатных, тяжеловесных фолиантов. Подобный свод выходил у нас лишь однажды, по случаю столетия гибели поэта, да и то мизерным тиражом.

Издание осуществляет объединение «Воскресенье» совместно с Российской московской телерадиовещательной компанией «Москва» при участии Комитета Российской Федерации по печати и Российского акционерного общества «Газпром».

Подписка принимается по адресу: Москва, ул.Селезневская, 13 (м. «Новослободская»).

Телефон для справок: (095) 257 30 53.

Руслан КИРЕЕВ

Россия, -1994. -8 июня. -с.6.

Говорите мне о любви...



«Онегина» и вдруг увидела сложенный вчетверо листок почтовой бумаги. Вынула, развернула и прочла под его горящим взглядом:

Я помню чудное меновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И тут случилось невероятное. Случилось нечто такое, чего Анна Петровна не могла объяснить себе ни тогда, в Тригорском, ни со-рок лет спустя, когда писала свои воспоминания.

«Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него мелькнуло тогда в голове, не знаю».

Видимо, то был импульс души, почувшей, что вот сейчас, в эту как раз минуту, завершается, дойдя до кульминации, поэтический сюжет и начинается... Роман начинается, заурядный роман. Поэт уступал место повеласу - а что еще оставалось ему! Он свое дело сделал - вот они, стихи, стихи дрожат, как живые, в испуганной женской ручке, и разве можно уничтожить их! - поэт свое дело сделал и должен теперь уйти...

Именно в это июльское утро имя Анны Керн зажило своей собственной жизнью, на которую генеральша Анна Керн будет взирать с потаенной и печальной завистью. Но это еще случится не скоро. Первое время, во всяком случае, генеральша не замечала перемен, хотя повелас, заступив на вахту, не терял ни секунды.

Атака велась по всем правилам донжуанского искусства. Буквально через день видонок сестрам полетело письмо, которое было лукаво адресовано одной Анне (Вульф), а предначалось, разумеется, для глаз другой. «Кажую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь - камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе...»

Повелас, как и положено повеласу, враг: никакого камня на столе не лежало, ибо, свидетельствует Керн, «никакого не было камня в салу, а споткнулась я о переплетенные корни деревьев». Но тогда она не придала значения этой странной несообразности, взор ее нетерпеливо бежал дальше. «...мысль, что я для нее ничего не значу, что, пробудив и заняв ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не делает ее ни более задумчивой среди ее побед, ни более грустной в дни печали, что ее прекрасные глаза останавливаются на каком-нибудь рижском франте с тем же произвольным сердцем и сладострастным выражением, - нет, эта мысль для меня невыносима».

Анна Керн перевела дыхание. Анна Керн привыкла к мужскому вниманию, привыкла к комплиментом и любезностям, но такого она еще не слышала... Пушкин продолжал: «...скажите ей, что я умру от этого, - нет, лучше не говорите, она только посмеется надо мной, это очаровательное создание. Но скажите ей, что если в сердце ее нет скрытой нежности ко мне, таинственного и меланхолического влечения, то я презираю ее, - слышите? - да, презираю, несмотря на все удивление, которое должно вызвать в ней столь непривычное для нее чувство».

Он и в дальнейшем строчил письма, адресуясь то к тетушке ее, то опять же сестре, «второй Анне», но предназначая их для взгляда «очаровательного создания». Знал, великий сердцем, как действует на женщину не прямо сказанное слово.

Но и прямые не гнушался.

«Надеюсь, вы прочтете это письмо тайком - спрячете ли вы его у себя на груди? ответите ли мне длинным посланием? пишите мне обо всем, что придет вам в голову, - закликаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем - сердце мое сумеет вас угадать».

А начиналось письмо - первое пушкинское письмо Анне Керн - весьма чинно: «Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы - легкомысленно или кокетство позволив мне это... Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных».

Вот это уже не мифический камень, о который якобы споткнулась божественная ножа и который хранился, как святыня, - это уже чистой воды правда. Впечатление, по срав-

дит его непременно. «Хотите знать, что за женщина-г-жа Керн? она податлива, все понимает, легко огорчается и утешается так же легко; она робка в обращении и смела в поступках; но она чрезвычайно привлекательна».

Расчет оказался верным. Молодая дама, которую эти строки тайно побуждали к бестрашию («смела в поступках»), не только прочла их, но и запомнила - запомнила настолько хорошо, что без труда воспроизводила сорок лет спустя в своих мемуарах. А поскольку само письмо утеряно, то в Полном академическом собрании печатается, со слов Керн, лишь этот отрывок.

Зато сохранилось другое его письмо тетушке - в нем поэт высказывает свое удовлетворение тем, что Прасковья Александровна «нашла портрет схожим», и попутно набрасывает, опять-таки для тех же прерасных и любопытных глаз, еще один портретик, куда более объективный и дерзкий: «...она ветрена, но терпение: еще лет двадцать - и, ручаясь вам, она исправится. Что же до ее кокетства, то вы совершенно правы, оно способно привести в отчаяние».

А дабы была полная гарантия, что та, кому посвящен этот итывый пассаж, прочтет его, вложил письмо к тетушке в конверт, на котором вывел ее, а не тетушки, имя. (Рядом, впрочем, лежало письмецо и для племянницы.)

Но, помимо суровой Прасковьи Александровны, которая, по свидетельству одного из современников, «как мать, любила» михайловского шалуна, был ведь еще и муж... Муж! К которому гордая красавица Анна Керн относилась, впрочем, весьма односторонне.

«Никакая философия на свете не может заставить меня забыть, что судьба моя связана с человеком, любить которого я не в силах...»

Это она не Пушкину писала, это она писала в «Дневнике для отдохновения», когда ей было двадцать лет. Но и Пушкину кое-что писала тоже - во всяком случае, своих чувств к генералу не скрывала.

А Пушкин? Пушкин, неисправимый ветренник, взывал - редчайший случай! - к благодарности. «Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж! Уж не ревнует ли он часом? Что ж, клянусь вам, он не был бы не прав». Надо думать, тут поэт и генерал были товарищами по несчастью. «Боже мой, я не собирался читать вам нравоучения, но все же следует уважать мужа, - иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не признайте слишком этого ремесла, оно необходимо на свете...»

Писалось это августовской ночью, под шелест михайловских лип. «Ваш образ встает передо мной, такой печальный и сладострастный; мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полукрытые уста. Прошайте - мне чудится, что я у ваших ног, сжимаю их, ощущаю ваши колени, - я отдал бы всю жизнь за миг действительности».

х айловское! Вот великодушный проект, который уже с четверть часа празнит мое воображение».

Пушкина несло. Пушкин резвился. «Вы скажете: «А огласка, а скандал? Черт возьми! Когда бросают мужа, это уже полный скандал, дальнейшее ничего не значит или значит очень мало... Если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности - в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг итыв, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, и всю неделю - у ваших ног».

Пушкина несло. Пушкин резвился, а она взыла да и впрямь удрала от мужа.

Удрала! Этого не ожидал даже он. А вот она еще в «Дневнике для отдохновения» мечтала убежать «куда глаза глядят, только бы избавиться от этого несчастья - разделить судьбу с таким грубым, неотесанным человеком».

Но мало ли о чем мечтают в двадцать лет! Мало ли какие планы вынашивают в уединенных сумасбродных девиц - редко у кого из них хватает духу планы эти осуществить.

У Анны Керн духу достало. И духу, и отваги, и поистине пушкинского (или даже больше, чем пушкинского, если вспомнить его призы-вы к благодарности) безразсудства. У них вообще было много общего. «Ходят характеры, - констатирует поэт, - ненависть к преградам,

